

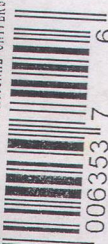
241 406

БИБЛИОТЕКА МЕМУАРОВ

Т. БЕТМАН-ГОЛЬВЕТ

МЫСЛИ О ВОЙНЕ

V.N. KARAZNE KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY



01 006353 7 6

ПРОЦЕССНО
1945

ЦЕНТРАЛЬНА НАУЧНА
БИБЛИОТЕКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ДШЕВЛЕННАЯ цона 80к



90 К.

ЦЕНТРАЛЬНА НАУЧНА
БІБЛІОТЕКА



9 II
2522

1932
ЦНБ 34/3



ЦНБ ХНУ
Дата повернення:

11 MAR 2001

64

ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА
БІБЛІОТЕКА

Проверено
ЦНБ 1939

БИБЛИОТЕКА МЕМОУАРОВ



МСМХХV

911
2522

Т. БЕТМАН-ГОЛЬВЕГ

МЫСЛИ О ВОЙНЕ

Перевод с немецкого

В. Н. ДЬЯКОВА

С предисловием

В. ГУРКО-КРЯЖИНА

ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА
БІБЛІОТЕКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва ★ 1925 ★ Ленинград

ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА
БІБЛІОТЕКА
№ 241706

Напечатано в 1-й Образцовой
типографии Госиздата
Москва, Пятницкая, 71
в количестве 5.000
экземпляров

Гиз 9159

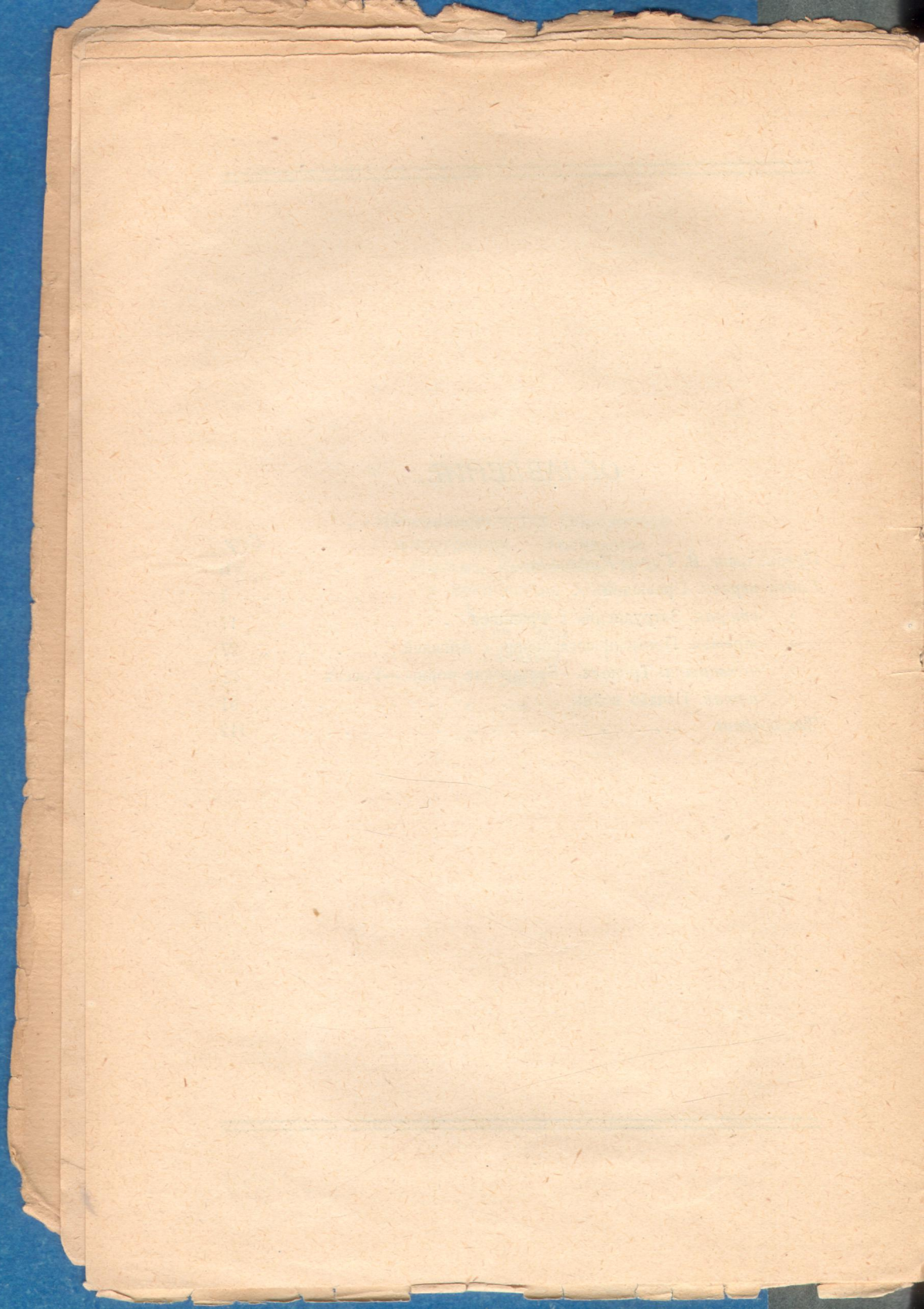
Главлит

34893



ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стр.</i>
<i>Предисловие В. Гурко-Кряжина</i>	<i>VII</i>
<i>Глава первая. Прелюдии</i>	<i>1</i>
> <i>вторая. Затруднения с Францией</i>	<i>17</i>
> <i>третья. Попытки соглашения с Англией</i>	<i>27</i>
> <i>четвертая. Триполи.—Балканские войны.—Россия</i>	<i>42</i>
> <i>пятая. Начало войны</i>	<i>61</i>
<i>Заключение</i>	<i>112</i>



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Воспоминания Бетмана-Гольвега ¹⁾ несомненно производят трагическое впечатление. Годы его канцлерства (1909 — 1917) падают на самую тревожную для Германии эпоху, непосредственно предшествовавшую мировой войне, и на большую часть последней. В эти полные драматизма годы происходит кристаллизация Антанты, разражается первый балканский кризис 1908—1909 г.г., вызванный австрийской аннексией Боснии и Герцеговины, через три года вспыхивает опаснейший конфликт в Марокко, вызванный так называемым «агадирским ударом» Германии, происходят бесконечные трения на Ближнем Востоке вокруг Багдадской железной дороги, наконец, возникают балканские войны, являющиеся уже несомненной прелюдией к мировой войне.

И вот в этот ответственный период истории Германии во главе ее оказываются совершенно неспособные, растерявшиеся политики, напоминающие героя сказки, который испугался им же самим вызванных духов. Руководитель внешней политики Германии — Бетман-Гольвег дрожащими руками строит и поддерживает, по его собственному выражению, «карточные домики» европейского равновесия; однако мощное дыхание империализма беспощадно валит эти хрупкие постройки. Медлительный, склонный, по словам Вильгельма II, к «проповедническим нравоучениям», канцлер пытается проводить систему компромиссов, названную им

¹⁾ Th. von Bethmann Hollweg. Betrachtungen zum Weltkriege, I—II.

политикой «диагонали». Однако во внешней политике эта «диагональ» ломается, упершись в «окружение» (Einkreisung), созданное державами Антанты. Не как трезвый политик, а как романтик он мечтает прорвать это стальное окружение, войдя в дружественное соглашение с Англией. Однако эта политическая линия разлетается вдребезги, сталкиваясь с программой Тирпица, провозглашающей, что «будущее Германии на морях», и стремящейся к сокрушению главного врага последней — Великобритании, путем колоссальных подводных и надводных вооружений.

Десятки красноречивых страниц посвящены Бетман-Гольвегом миролюбию германской политики, при чем даже Вильгельм он ухитряется изобразить в виде какого-то ангела мира. Однако в свете послевоенных разоблачений этот пацифизм приобретает довольно подозрительную физиономию. Как известно, уже в эпоху первого балканского кризиса (1908—1909) Германия открыто грозила России выступить в «блистающих доспехах» на защиту своей союзницы — Австро-Венгрии. Спустя три года, Германия устраивает демонстрацию в Марокко, послав туда военное судно «Пантеру». Опять спустя три года, в тревожный период балканских войн Вильгельм II уже любезно предлагает России устроить «пробу сил» (Kraftprobe), т.-е. фактически начать войну.

Как же примирить все эти дипломатические «удары», помахиванье бронированным кулаком и т. п. с «миролюбием» германской политики? Бетман пытается выйти из этого затруднения, указывая, что все эти вызывающие действия были обусловлены исключительно необходимостью «сохранения престижа» Германии, а также оказания защиты ее союзнице — Дунайской монархии. Но при этой аргументации экс-канцлера остается совершенно непонятным, чем же собственно отличается миролюбивая политика «сохранения престижа» от самого беспардонного зарвавшегося милитаризма, стремящегося спровоцировать войну? Затем совершенно не-

лепо и исторически неправильно живописать Австро-Венгрию в виде какой-то приживалки, мирно прозябающей под защитой Германии. Разоблачения, появившиеся в последние годы в Австрии, рисуют яркую картину венского милитаризма, ничуть не уступающего по своей интенсивности берлинскому, парижскому или петербургскому. Лидер австрийских империалистов, начальник штаба Конрад фон-Гецендорф, в своих записках («Aus meiner Dienstzeit») совершенно откровенно признается, что он в течение восьми лет осаждал Франца Иосифа и австрийское министерство иностранных дел требованиями ринуться в бой против Сербии, стоящей за ее спиной России и даже против коварной союзницы—Италии. Когда начался кризис 1914 г., вызванный сараевским убийством, то, как известно, в Вене не ожидали и не хотели, чтобы сербы приняли австрийский ультиматум, хотя для всех совершенно было ясно, что война с Сербией неизбежно приведет к мировому пожару.

Как мы видим, если Германии и приходилось защищать Дунайскую монархию, то это вызывалось не беспомощностью последней, а наоборот — ее чрезвычайной агрессивностью. Германия, начиная с 1908 г., плыла в фарватере австрийской политики и часто принуждена была ввязываться в те конфликты, которые создавались последней.

Мирные тенденции, наличие которых нельзя отрицать в германской политике (конечно, наряду с более ярко выраженными агрессивными), находят себе совершенно иное объяснение, нежели то, которое дает в своей апологии Бетман-Гольвег. Это не была продуманная и решительная мирная программа, стремящаяся ликвидировать возникающие конфликты. Скорее это была трусливая политика выгадывания времени, быстро переходящая от угроз к половинчатым компромиссам, преследующая единственную цель отогнать хотя бы на короткое время тот призрак войны, тень от которого уже покрывала всю Европу.

Огромная машина милитаризма, пущенная в ход уже десятилетия назад, неудержимо увлекала все европейские державы к кровавой бойне. А Бетман-Гольвег продолжал думать, что во всех осложнениях повинна лишь русская экспансия да сербские интриги; досадно, что они находят поддержку со стороны Франции и Англии, а то карточный домик европейского равновесия можно было бы еще в течение долгого времени предохранять от падения.

Когда разразился австро-сербский конфликт 1914 г., то для всех осведомленных политиков, одинаково в странах Тройственного Соглашения и в странах Антанты, было ясно, что он примет мировые размеры. Проницательный же канцлер и возглавляемая им партия мира думали, или вернее хотели думать, что австро-сербский конфликт может быть локализован испытанными, но, увы, уже окончательно выдохшимися средствами тайной и явной дипломатии. Пацифистски настроенный канцлер и его единомышленники в эти трагические годы и месяцы, предшествовавшие мировой войне, напоминали растерявшихся людей, которые, боясь наступления неизбежного рокового часа, пытаются обмануть себя тем, что они безостановочно переводят назад стрелку на своих карманных часах.

Мировая война открывает новый том «Размышлений» Бетман-Гольвега и вместе с тем знаменует новый этап в его политической деятельности.

Когда разразился мировой катаклизм, то вся юнкерская и милитаристическая Германия начала требовать создания «твердой власти», которая бы целиком ликвидировала парламентаризм, задушила прессу и рабочее движение и явилась бы орудием для их аннексионистской, пангерманской программы. Трудно представить себе менее подходящего человека для выполнения этих задач, нежели Бетман-Гольвега. Основным дефектом его было то, что у него не было, в противоположность милитаристической клике, никакой

определенной программы. Он по-прежнему пытался проводить политику «диагонали», думая таким путем стать «над партиями». Жестким требованиям пангерманцев он противопоставил дряблую тактику компромиссов и уступок. Пытаясь завязать мирные переговоры, он не решался потребовать от милитаристов категорического отказа от Бельгии, без чего вся его мирная дипломатия теряла всякую базу. Восставая против беспощадной подводной войны, он соглашался на куцую, ограниченную войну: заигрывая со всеми партиями рейхстага и одновременно учитывая требования военщины и реакционных кругов, он плелся в хвосте событий, не руководя политической жизнью, а одновременно ориентируясь на придворную клику, ставку и парламентское большинство.

Немудрено, что с самого начала мировой войны у канцлера возникли трения с военными кругами, дошедшие до необычайной остроты после водворения в верховной ставке ген. Людендорфа. Бетман-Гольвег жалуется на вмешательство военных в политику, на стремление Людендорфа к военной диктатуре, помимо неограниченной свободы военных действий; он отмечает, что до войны его главным противником был адмирал Тирпиц, теперь же стал Людендорф и т. п.

Последний, как это выясняется из его «Воспоминаний о войне 1914—1918 г.г.», действительно считал канцлера неспособным сохранить единство «тыла», обвинял его в сознательном уничтожении боеспособности народа, в подрывании «упования на собственную мощь» и т. п. Как и Тирпиц, он указывал, что в противоположность державам Антанты, вручившим правительственную власть энергичным диктаторам типа Клемансо или Ллойд-Джорджа, Германия передала власть слабовольным политикам, неспособным поддерживать «священный огонь».

Вполне понятно, что, не поладив с канцлером, Людендорф начал концентрировать в ставке все нити как военной, так

и внутренней и международной жизни страны. «Государственные люди с трудом могли понять, — пишет он в своих «Воспоминаниях», — что с начала войны высшее военное командование образовало новый центр, который не только разделил ответственность с государственным канцлером, но и выносил на себе невероятные трудности».

В неравной борьбе нерешительного, склонного «к проповедническим нравоучениям» канцлера с немецким «железным человеком» — Людендорфом победа, разумеется, должна была остаться на стороне последнего. Вырванное у канцлера согласие на беспощадную подводную войну лишь отсрочило его падение. Когда же в середине 1917 г. в парламенте образовалось большинство, стоящее за «мир на основах соглашения», судьба канцлера была предreshена. Последняя глава его «размышлений» производит трагическое впечатление. Решительно все партии и политические группы требуют его отставки. Людендорф заявляет, что война будет проиграна, если Бетман-Гольвег останется у власти. Одновременно парламентские фракции утверждают, что он является препятствием для заключения мира. Чтобы свалить ненавистного канцлера, военное командование прибегает к любопытному способу: Гинденбург и Людендорф пред'являют ультиматум кайзеру об удалении Бетмана, угрожая в противном случае своей отставкой.

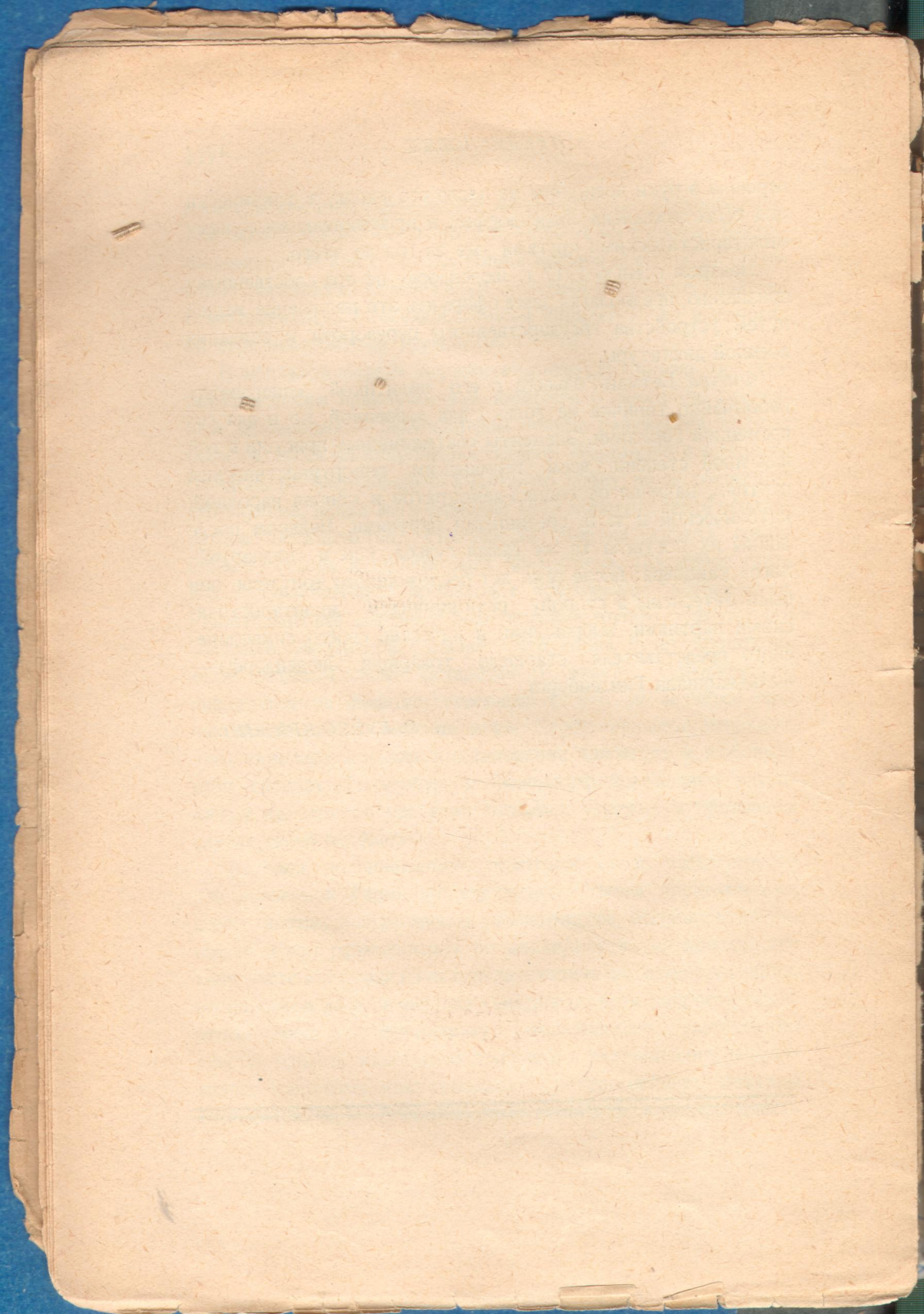
Карьера половинчатого политика, столь характерного для довоенной Германии, сделавшего своим политическим credo тактику безграничных компромиссов, бесповоротно рушится. Свои размышления он заканчивает указанием, что хотя после его ухода и наступила внешняя парламентаризация, но на самом деле решающая санкция по всем вопросам после этого перешла к верховному командованию. Необходимо внести, однако, маленькую поправку в размышления неудачливого канцлера; как указывают интереснейшие мемуары Эрцбергера, да и «Воспоминания» самого Людендорфа, власть

перешла в руки военщины не после его ухода, а фактически она была захвачена Людендорфом и примыкающими к нему милитаристическими кругами уже за год до этого.

Недаром осенью 1917 г. Людендорф, по его собственному признанию, предполагал даже оформить это положение вещей путем устройства государственного переворота и создания военной диктатуры.

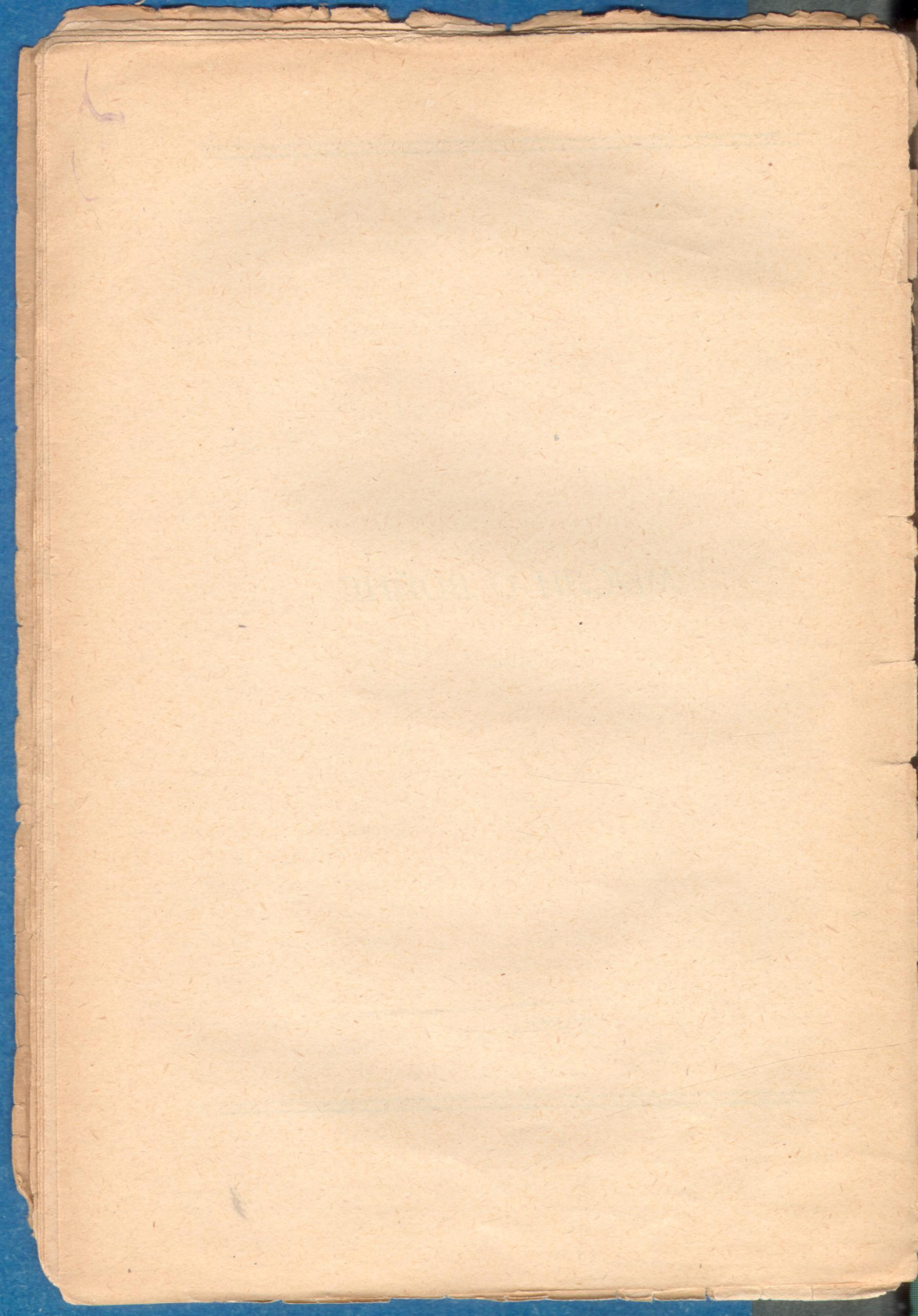
Фигура Бетман-Гольвега с его политикой «диагонали» необычайно типична не только для довоенной, но и для современной Германии. Элементы «бетманщины» присущи в той или иной степени всем германским оппортунистическим партиям, начиная от социал-демократов и кончая народной, католической и т. п. срединными партиями. Недаром после войны их постигла та же самая судьба, как и «надпартийного» канцлера: после семи лет беспомощного топтания они были оттеснены в сторону реакционными, милитаристическими партиями, выбравшими в качестве своего символического представителя старшего товарища Людендорфа — фельдмаршала Гинденбурга.

В. ГУРКО-КРЯЖИН.



МЫСЛИ О ВОЙНЕ

ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА
БІБЛІОТЕКА



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ПРЕЛЮДИИ.

Когда князь Бюлов при выходе своем в отставку в июле 1909 г. передавал мне дела рейхсканцлера, он набросал в обстоятельных беседах со мной картину отношений Германии к соседним государствам. В основном его мнение сводилось к тому, что наши отношения с Россией и Францией удовлетворительны, но что поведение Англии представляет предмет серьезных опасений. Однако он надеялся, что путем особо предупредительного обращения с ней удастся и здесь установить лучшие взаимоотношения.

По моим личным впечатлениям, недоброжелательство к нам не состоящих в союзе с нами европейских великих держав, взрощенное королем Эдуардом с его политикой изоляции Германии, неизменно продолжалось. Руководитель внешней политики России г. Извольский склонен был выражать в очень несдержанной форме свою непримиримую ненависть к графу Эренталю и к направляемой им австро-венгерской политике. Та настойчивость, с которой русский посол граф Остен-Сакен — тип настоящего дипломата старой школы — содействовал поддержанию традиционной дружбы с Германией, не могла рассеять убеждения, что более влиятельные силы в Петербурге переносили враждебные тенденции против Дунайской монархии и на союзную с ней Германию. Наше поведение в боснийском кризисе 1908/1909 г., имевшее в виду

предоставить русскому кабинету выход из того тупика, в который он попал, и действительно ему таковой и предоставившее, подействовало как вызов, брошенный чувству собственного достоинства России, и постепенно она сжилась с мыслью, что Германия представляет главное препятствие к осуществлению вновь возникших у нее после японской войны претензий на исключительное влияние в политических делах на Балканах и в Константинополе.

Отношения с Францией были в то время ровные. Заключенный в феврале 1909 г. договор относительно экономических интересов в Марокко при точном его соблюдении мог, казалось, предупредить дальнейшие трения; тогдашнее же французское правительство старалось не допускать чересчур громких проявлений мечты о реванше. Г. Жюль Камбон, французский посол в Берлине, неоднократно подчеркивал необходимость более дружеских отношений между обоими правительствами, живо вспоминая серьезное беспокойство, которое он пережил в 1905 г. Характер своих соотечественников он знал слишком хорошо, чтобы не понимать, что вынужденная в свое время отставка Делькассэ причинила галльскому самолюбию мучительную рану, которая, несмотря на удовлетворительный для Франции исход Алжезирасской конференции, еще не зарубцевалась. Он честно учитывал, что воспоминание о 1870 г. и Эльзас-Лотарингии, стремление к реваншу за понесенное тогда поражение, помимо всех событий дня, оставалось во французской политике фактором, который, не взирая на общее упрочение положения, мог повлечь за собой самые серьезные последствия.

В Англии король Эдуард находился на вершине своего могущества. Английские политики часто его восхваляли, как великого *reacemaker'a* (миротворца), и с особой настойчивостью протестовали против мнения, будто то направление, которое приняла политика Англии по отношению к Франции и России, имело целью изоляцию Германии или даже воору-

женное на нее нападение. Подобные мнения лорд Хольден в своей речи 5 июля 1915 г. признал решительно ложными и неосновательными. Он одновременно прав и неправ. Нахожу необходимым с самого начала оговориться, что я считаю неверным, будто король Эдуард или официальная английская политика после него проектировали вооруженное нападение на нас. Но было бы пустым спором о словах опровергать, что король Эдуард проводил план нашей изоляции и добился ее. Факт тот, что отношения обоих кабинетов, в сущности, ограничивались лишь соблюдением формальностей, сопряженных с взаимоотношениями двух ненаходящихся в состоянии войны государств. Во всех вопросах международной политики, по которым мнения расходились, Германия была поставлена перед лицом тесного союза Англии, России и Франции, который не только нагромождал всяческие препятствия на пути ее начинаний, но систематически и с успехом старался отвлечь Италию от тройственного союза в свой лагерь. Можно это называть как угодно: изоляцией, политикой *balance of power* (равновесия сил) или как-нибудь иначе. Целью являлось — и намеченная цель была достигнута — образование такой группировки государств, которая, путем объединения сил, превышающих силы противника, препятствовала бы — по крайней мере, дипломатическими средствами — свободному развитию возрастающих сил Германии. Так понимали эту политику не только шовинистические, но и строго миролюбивые круги Англии и Германии, а также и нейтральные наблюдатели. Антанта, в течение войны так заботливо обращавшаяся с своим протее — Бельгией и с таким энтузиазмом восхвалявшая ее, как союзницу в борьбе за право и справедливость, не могла обойти молчанием единодушного мнения бельгийских дипломатов. Их сообщения, освещающие буквально подавляющим материалом разные стадии развития политики изоляции, имеют, пожалуй, больше веса, нежели многочисленные английские голоса, которые тоже не упускали ни одного случая

радостно приветствовать *entente cordiale* (сердечное согласие) и его недружеские — чтобы не сказать враждебные — тенденции против Германии.

Характерно то значение, которое наиболее видные английские дипломаты без различия партий с самого начала придавали позиции Англии в группировке держав. Сэр Эдуард Грей уже в 1905 г., когда намечался переход власти к либеральной партии, объявил, что либеральный кабинет оставит в силе программу старого правительства. Он говорил, что надеется на улучшение отношений с Россией, и что с его точки зрения не следует противиться установлению более удовлетворительных отношений с Германией при условии, что они не пойдут в ущерб англо-французской дружбе. Соглашение с Германией — лишь постольку, поскольку его допускает дружба с Францией, а впоследствии еще и с Россией, — вот лейтмотив английской политики по завершении *splendid isolation* (блестящей изоляции) и до самой войны. Лейтмотив этот был для Германии далеко не безобидным. Англия знала, как неотступно направлен взор Франции на Эльзас-Лотарингию; она слышала голоса реванша, которые раздавались на всех празднествах братания России и Франции; она знала условия, которые Франция ставила почти при каждом займе союзной России в смысле улучшения военных ее сооружений и развития стратегической железнодорожной сети против Германии; одним словом, Англия, по меньшей мере, так же хорошо, как мы, угадывала боевые тенденции франко-русского союза, на заднем фоне которого уже несколько раз показывался грозный призрак войны. Не приходится поэтому удивляться тому опасению, с которым в Германии следили за таким направлением английской политики. Ведь и сам инициатор ее — король Эдуард неоднократно публично намекал, как именно надо было понимать дело его рук. Исключительное внимание, оказанное им яркому представителю политики реванша — министру Делькассе в Париже вскоре после его паде-

ния — летом 1906 г., рассеяло всякое сомнение относительно характера дружбы, объединяющей Англию с Францией.

Сэр Эдуард Грей воздерживался от проявления явно недружелюбного отношения к Германии. Может оставаться под сомнением, давал ли он себе отчет во всей остроте агрессивных тенденций франко-русской политики; вероятно, он считал возможным регулировать эти тенденции, сообразуясь с потребностями английской политики. Кое-что говорит даже за то, что он не исключал из сферы своих комбинаций возможности некоторого сближения с Германией, считая его вполне соединимым с сохранением близких отношений с Францией и Россией. Его позиция была не так проста, как французских и русских дипломатов, в его сложном мозгу умещались разные политические соображения, быть может, не всегда совпадавшие с целями Антанты.

Здесь не место обсуждать, могла ли бы Германия придать этим мировым отношениям другое направление, если бы она реагировала на попытки сближения со стороны Англии и, в случае достижения соглашения, соответственно изменила бы свою морскую политику. В 1909 г. взаимоотношения, которые мы пытаемся в общих чертах обрисовать здесь, сводились к тому, что Англия — в полном соответствии с своей традиционной враждой к могущественнейшей тогда континентальной державе — заняла определенную позицию на стороне Франции и России, в то время как Германия выработала программу постройки флота, дала определенное направление своей восточной политике и вынуждена была считаться с враждебным настроением Франции, несколько не ослабленным политикой последних лет. Если, с одной стороны, Германия в дружбе с двойственным союзом должна была усматривать угрожающее усиление агрессивных тенденций франко-русской политики, то, с другой стороны, Англия должна была видеть в усилении германского флота угрозу себе, а в нашей политике на Востоке — вторжение в сферу ее исконных прав.

Резкие выпады сделаны были с обеих сторон. Холодом и недоверием повеяло в воздухе.

Положение Германии при таком состоянии вещей казалось тем более не надежным, что тройственный союз, внешне неизменившийся, внутренне потерял свою прочность. Это не относится, однако, к Австро-Венгрии: с ней царило полное согласие, хотя в Алжезирасе мы видели те пределы, за которые не выходила дипломатическая помощь Австро-Венгрии. Но Италия, через Висконти-Виноста вошедшая в соглашение с западными державами относительно Марокко и Триполи, явно склонялась к Франции, в то время как ее притязания на Балканах, даже помимо движений ирреденты, никогда не позволяли установиться настоящей искренности в ее отношениях с союзной Дунайской монархией. Такого министра иностранных дел, как Принетти, едва ли можно назвать лояльным представителем старой политики тройственного союза. Интересы Италии в Средиземном море заставляли ее обратить свои взоры к Англии, не говоря уже о тех перспективах, которые открылись бы перед ней, почти совершенно беззащитной против английского флота при ее островном положении, в случае вражды со стороны Англии. Поведение Италии на Алжезирасской конференции и во время боснийского кризиса было очень показательным для действительного положения вещей. Эти заигрывания привели в конце концов к весьма подозрительной интимности.

Если подвести итог и рассмотреть его объективно, то придется характеризовать внешнее положение, которое я застал в 1909 г. следующим образом: Англия, Франция и Россия были объединены в твердую коалицию; Япония была связана с ними, благодаря ее союзу с Англией. Резкие англо-французские и англо-русские разногласия прежних времен были устранены договорами, относительно выгодными для всех сторон; Италия хотя и сталкивалась с западными державами из-за своих интересов в Средиземном море, в то же время находилась от

них в некоторой зависимости, все более сближаясь с ними. Связующим цементом в здании коалиции были созданные английской политикой *do ut des* (услугу за услугу) общность интересов коалиционных держав между собой и антагонизм каждой из них в отдельности против Германии. Принципиальная враждебность к нам франко-русского союза усилилась: со стороны Франции после первого мароккского кризиса и со стороны России—после боснийского кризиса; Россия отплатила нам черной неблагодарностью за наше отношение к ней во время ее войны с Японией. Япония, с своей стороны, не могла простить нам нашего поведения в Шимоноэки. Противоположность экономических интересов Англии и ее германских соперников обратилась, благодаря нашей морской политике, в остро политическую. При таком положении вещей Германия, по моему убеждению, должна была попытаться ослабить главную опасность франко-русского союза, который мы были бессильны разрушить, хотя бы путем сокращения кредитов, отпускаемых Англией двойственному союзу на его анти-германскую политику. Это означало для нас — попытку войти с Англией в соглашение.

Император не только соглашался с такой политикой, но называл ее, в наших неоднократных с ним беседах, единственно возможной политикой, к которой он лично всеми мерами стремится. Враждебное окружение, в котором мы находились, производило на императора чрезвычайно тяжелое впечатление. Если он от времени до времени в своих полных темперамента речах подчеркивал прочность международного положения Германии, то его при этом воодушевляло только желание побудить нацию, процветание которой, превзошедшее всякие ожидания, наполняло его вполне сознательной гордостью, к дальнейшему напряжению сил: он хотел заразить ее своим энтузиазмом. Сильным и могущественным хотел он видеть свой народ, но миссия Германии, в которую он глубоко верил, должна была быть миссией труда и мира. И его

неустанной заботой было, чтобы этот труд и этот мир не были нарушены подстерегающими нас со всех сторон опасностями. Неоднократно рассказывал он мне, как он предпринял свою поездку в Танжер в 1905 г. против своей воли, только по настоянию своих политических советчиков, хорошо зная, что эта поездка вовлечет нас в опасные осложнения. Его личное влияние, однако, сыграло большую роль в мирном исходе мароккского кризиса в 1905 г. Таким же стремлением к миру было проникнуто все его поведение как во время бурской, так и во время русско-японской войны, между тем как для воинственно настроенного властителя не было недостатка в поводах для вооруженного вмешательства в мировую политику.

Германская критика уже тогда неоднократно указывала, что это слишком частое подчеркивание нашего миролюбия не столько способствует поддержанию мира, сколько укрепляет Антанту в ее стремлении к изменению status quo. В период империализма, основывающегося на материальной силе и лишь попутно преследующего задачи сохранения мира (именно под этим знаменем протекли последние десятилетия перед войной), такие соображения, несомненно, имеют большое значение, и, быть может, ими об'ясняются некоторые заявления императора, подчеркивающие германскую военную мощь. Конечно, такие заявления не могли ослабить общей нервозности, наполнявшей международную атмосферу, но настоящую пищу всемирное беспокойство находило себе в политике balance of power (равновесия сил), стремившейся разбить Европу на два враждебных, не доверяющих друг другу, вооруженных лагеря. Да и послы великих держав, лично знавшие достаточно близко императора, прекрасно понимали, что его намерения, несмотря на все, были самыми миролюбивыми. Каррикатурный образ тирана, полного ненависти и жаждущего всемирного владычества, представляет собой преднамеренную ложь, которую можно об'яснить только психозом

войны. Быть может, величайшая трагедия, постигшая императора, заключается в этом неслыханном искажении его воли, глубоко преисполненной идеалами мира. И кому, как мне, выпало на долю после долголетнего, полного доверия, общения и обмена мыслями, переживать вместе с ним ту страстность, с какой эта воля искала летом злополучного 1914 г. мирного исхода, тот может понять, в какой степени должна была возрасти огромяная боль, причиненная ему развалом Германии, от этого осквернения его сокровеннейших убеждений, вытекавших из его христианского мировоззрения.

Внутреннее положение Германии при моем вступлении в должность канцлера было достаточно запутано. Политика блока князя Бюлова означала несомненный успех постольку, поскольку она, хотя бы временно, вырвала развившийся немецкий либерализм из бесплодного состояния оппозиционной партии и таким образом поставила правительственную политику на более широкий базис. Но консерваторы с самого начала, по деловым и личным соображениям, не симпатизировали сотрудничеству с прогрессивной партией. В особенности же центр, связанный многочисленными нитями с правыми, отнесся с вполне понятным неудовольствием к тому, что он в результате блокированных выборов попал в оппозицию бок-о-бок с социал-демократией. Быть может, результаты были бы более благоприятные, если бы правительство трактовало свою позицию против центра, как временную. С распадом блока разлад между партиями стал еще больше, чем был до его возникновения. Правая, довольная, что она отделалась от сотрудничества с прогрессивной партией, была склонна подчеркивать решительнее, чем раньше, свои крайне консервативные взгляды, в особенности в прусском ландтаге. Буржуазная левая чувствовала себя горько разочарованной разрушением своих надежд приобрести более длительное влияние на политику и опять вернулась в фарватер оппозиции. Социал-демократия, сильно ослабленная блокированными вы-

борами, еще глубже затаила свою непримиримость. Только центр в конце концов выиграл. Благодаря умелому руководству, сумевшему крепко спаять об'единенные в нем консервативные и демократические элементы, и благодаря осторожной тактике, избегающей всяких преждевременных обещаний, ему удалось опять завоевать то положение, которое наиболее соответствовало политике диагонали, обусловленной общим взаимоотношением сил.

Взаимное озлобление партий нашло себе обильную пищу в настроении народных масс вне парламента. Теперь кажется просто непонятым, как могла вокруг такого вопроса, как налог на наследство, с его небольшими, вполне приемлемыми ставками, разгореться такая ожесточенная борьба, в которой были пущены в ход даже принципы германской семейной этики. Сопротивление, в особенности консерваторов, было здесь, как и в других вопросах, бесконечно близоруко и нанесло длительный вред репутации партии, поскольку она опиралась на определенные крути, в особенности на союз сельских хозяев. Упрек, что враждебность консерваторов к указанному закону сводилась лишь к заботам о собственном кармане, напрашивался сам собой и с жадностью был использован в целях агитации в широких слоях населения. Если центр меньше упрекали за отклонение закона о налоге на наследства, то об'ясняется это более уступчивым его отношением в вопросе о реформе прусского избирательного права. Упорство консерваторов в отстаивании классовой системы избирательного права, явно благоприятствовавшей им в течение всей эпохи нашего развития, вместе с отклонением налога на наследства, который, несомненно, ложился более чувствительно на поземельную собственность, чем на движимый капитал, — придавали их политике сутубый характер корыстного преследования своих классовых интересов.

Партийная печать делала с своей стороны все возможное для усиления создавшихся разногласий, вместо того,

чтобы их постепенно сглаживать. Ввиду такой победы реакции над либерализмом — именно так обычно изображались судьба политики парламентского блока и падение князя Бюлова — социал-демократические и демократические газеты с необыкновенной страстностью вопили о всеобщей отсталости наших политических порядков, направляемых будто бы всемогущей кастой юнкеров, совершенно не учитывая при этом, какие ложные представления могли вызвать за границей эти слишком далеко заходящие преувеличения. Мне неоднократно приходилось слышать жалобы на оказываемое этими заявлениями действие со стороны немцев, знающих фактическое положение дел и прислушивающихся к отзывкам за границей, и можно смело утверждать, что развитая во время войны пропаганда ненависти и презрения к нам питалась указанным источником не меньше, чем источниками пангерманизма.

Я лично в полной мере испытал на себе расхлябанность в наших внутренних отношениях. Ни одна партия не хотела подвергнуться упреку, будто она проводит правительственную политику. Уже по этому одному была исключена всякая возможность образования твердого парламентского большинства. Сверх того, разница в политических убеждениях делала для меня невозможным приноровление моей общей политики к тем партиям, которые, наконец, провели налоговую реформу, так же, как, с другой стороны, невозможна была политика в духе социал-демократии и прогрессивной партии. Образование большинства для каждого отдельного случая — вот единственный исход, который оставался. И, действительно, таким путем удавалось в продолжение целого ряда лет проводить в приемлемой форме почти все правительственные законопроекты, в том числе и такие весьма острого характера законы, как Эльзас-Лотарингская конституция, закон о государственном страховании и крупные кредиты на военные сооружения. С точки зрения, свободной от партийной и по-

литической предвзятости, нужно признать, что законодательство в его целом хотя и приняло таким образом направление, уязвимое с партийно-догматической точки зрения, все-таки в большей мере соответствовало многогранным практическим потребностям, чем законодательство, всецело зависящее от господства партий.

Вообще, в основе моего стремления ставить правительство выше партий, столь часто подвергавшегося иронической критике, лежала конечная цель, которую я рассматривал, как главную цель внутренней политики, и которая другим путем мне казалась недостижимой. Для тех, кто способен подняться над предрассудками, совершенно бесспорно и ясно, что социал-демократия, несмотря на ее ожесточенную борьбу против всего исторически-традиционного, на-ряду с многочисленными экономическими и политически неосуществимыми утопиями, преследовала также и великие, проникнутые идеальными началами цели, соответствующие тенденциям политического и экономического развития современного мира. Исчисляемые миллионами приверженцы этой партии рекрутировались преимущественно из рабочего класса, который уже мог сослаться на свои большие достижения в области производительной деятельности и был путем строжайшей дисциплины прочно спаян экономически—профессиональными союзами, а политически — партийной организацией. Мнение, что эту силу можно подавить репрессивными насильственными мерами, коренилось в ошибочном представлении о пределах возможного для государства, а господствовавшее в некоторых буржуазных кругах желание оставить социал-демократию в положении партии, явно враждебной империи и государству, может быть, даже еще глубже загнать ее в этот тупик, — было фактически неосуществимо и несовместимо с задачами, отвечающими моему пониманию мирной политики, стремящейся к сохранению государства. Свои взгляды в этом вопросе я выразил уже в качестве статс-секретаря по внутрен-

ним делам, указав в своем приветственном слове на конгрессе германских рабочих, как на важнейшую задачу момента, на необходимость включения рабочего движения в основы существующего общественного строя. Вскоре после того я настойчиво отстаивал те же мысли при защите в рейхстаге, к сожалению провалившегося, законопроекта об учреждении посреднических рабочих камер. Этой линии я держался неизменно, особенно во время войны.

К постепенному привлечению социал-демократии к положительному государственному сотрудничеству постоянно встречались, однако, крупные препятствия. Резко оппозиционная позиция социал-демократов при голосовании государственных смет и расходов на военные нужды, террористические эксцессы в борьбе за заработную плату, подчеркивание интернационалистических тенденций движения и неоднократные оскорбительные выходки против монарха — делали для широких буржуазных кругов, которые, отчасти по убеждению, отчасти по привычке, рассматривали постоянную безоговорочную борьбу с социал-демократией, как первейшее требование добропорядочности, подозрительным всякого государственного деятеля, который решился бы идти по другому пути. Ссылались на заветы Бисмарка, не взирая на то, что даже самые убежденные поклонники его политики против социал-демократии не могли не заметить наступившей с течением времени перемены обстоятельств. Если социал-демократы и могли мотивировать свое озлобление теми преследованиями, которым они подвергались в эпоху исключительных законов, и той травлей, которая происходила позднее, то все же они и сами постоянно лили воду на мельницу своих противников и несколько не облегчали борьбы с теми общественными кругами, которые настойчиво требовали исключительных законов.

Эти неопределенные и неустойчивые взаимоотношения партий очень неблагоприятно отражались на руководстве

внешней политикой. Слишком тяжелым было внешнее положение Германии, чтобы позволить себе роскошь страстной внутренней борьбы, которую за границей, настроенной к нам враждебно, могли только приветствовать, как признак нашей слабости. Как ни настойчиво требует политическая жизнь, откровенной критики событий и лиц, но несдержанность в этом отношении таит в себе опасность создать впечатление политической незрелости: без внутренней сплоченности, умеющей обуздать излишнюю иронию критики, невозможна успешная защита интересов страны за границей.

Немецкий народ лишь с трудом привыкал уделять внешним проблемам то внимание, которого требовало его фактическое вступление в мировую политику. Такое впечатление можно было вынести из ежегодных дебатов его представителей в рейхстаге при обсуждении бюджета: иногда то или иное случайно брошенное слово, способное вызвать и, действительно, совершенно бесцельно вызывавшее озлобление за границей, невольно заставляло сомневаться в том, достаточно ли учитывается при обсуждении вопросов общей политики опасность нашего внешнего положения, которая при дебатах о военных кредитах часто слишком сильно подчеркивалась. Народ в общей своей массе вовсе не был склонен к шовинизму. Немецкий народ не читал ни Нитцше, ни Бернгарди и не мечтал ни о завоеваниях, ни о всемирном владычестве: ярко выраженное материалистичное направление нашего времени нашло себе полное удовлетворение в сказочном подъеме хозяйственной деятельности страны. Этому основному направлению в общем отвечало и поведение партий, несмотря на националистические тенденции некоторых из их представителей. Без сомнения, социал-демократия, которая со своими интернациональными устремлениями, с отказом от всякой политики вооружений и отстаиванием идеи международных третейских судов — защищала, внутренне вполне последовательную, программу, как раз этим подчеркиванием ин-

тернациональных моментов способствовала обострению выступлений противной стороны, что повело к резким столкновениям и завершилось роковым антагонизмом национальных и антинациональных партий. Пангерманская пропаганда, с своей стороны, лишь содействовала развитию таких отношений.

Как ни ложно представление, распространившееся за границей во время войны, что в пангерманизме выражается основной характер немецкого народа, все же уже в 1909 году стало ясно, что в консервативной и национал-либеральной партиях пангерманское движение обрело благоприятную почву. На правительственную политику это, однако, не оказывало влияния. В самом начале моей канцлерской деятельности я уже был вынужден весьма резко реагировать на выступление одного из пангерманских фереинов (союзов). Но до какой степени затруднялась внешняя политика, благодаря тому, что партии, имевшие сильную опору в прусском государственном организме, в армии, флоте и крупной промышленности, проявляли родственные пангерманским идеям тенденции,— это я достаточно испытал во время мароккского кризиса в 1911 году и при попытках соглашения с Англией. Нельзя утверждать, что консерваторы и национал-либералы преследовали в своей политике цели определенно воинственного характера. Но они не пренебрегали приемами, которые недоброжелателями могли рассматриваться, как проявление высокомерия, и, упрекая меня в слабости, тем самым затрудняли мои попытки сгладить внешние трения. Излюбленные ссылки на Бисмарка придавали подобным обвинениям тем большую убедительность, что эпигоны всегда бессильны сравняться с прообразом героя, хотя бы политические методы последнего и были впоследствии искажены его приверженцами, а изменение общих условий с необходимостью порождало и изменение прежней политики.

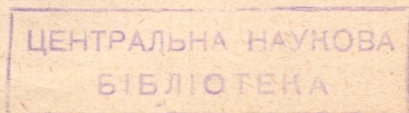
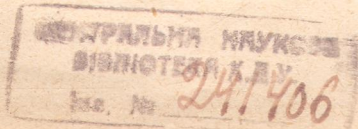
Все усиливающееся сближение консервативных и национал-либеральных воззрений с пангерманским течением имело

корни в условиях внутренней и внешней политики. Материальный характер всех жизненных общественных интересов, которым роковым образом ознаменовались последние десятилетия, должен был повлиять и на политические партии. У консерваторов он проявился в преобладающем влиянии союза аграриев и его интересов, у национал-либералов — в преобладании крупной промышленности. Но от идейных стремлений, как они проявлялись раньше, ни одна партия не могла совершенно отказаться. Поневоле нашлись общие точки соприкосновения с теми крутами, в которых громче всего раздавались национальные лозунги и от которых высокие партийные традиции не позволяли отставать в выявлении национальных чувств. Возбуждение, естественно вызванное политикой изоляции, которая всем народом воспринималась, как провокация, обостряло настроение. Надо самым настоящим образом подчеркнуть, что чрезмерное проявление пангерманизма в значительной мере было лишь эхом тех страстных выпадов шовинизма в странах Антанты, который — в отличие от Германии — находил там почву в официальной политике. Этот момент сохраняет все свое громадное значение, совершенно независимо от того, что пангерманские идеи производили в немецких головах большую путаницу и могли быть использованы нашими врагами для дискредитирования самой сущности немецкого духа. Если нас и можно упрекнуть в чрезмерном проявлении национальных чувств, то ведь с противной стороны был прямо брошен насторожившемуся миру клич: *Germaniam esse delendam* (Германия должна быть разрушена), правда, в форме трезвых деловых соображений, но поэтому, может быть, еще более убедительный.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ЗАТРУДНЕНИЯ С ФРАНЦИЕЙ.

Когда французский посол Жюль Камбон весной 1911 года уведомил меня о предстоящем походе на Фец, он не мог скрыть некоторого смущения. Слишком явно противоречило это новое выступление французской политики так часто высказываемому им мне стремлению к установлению хороших отношений между обоими государствами. Если уже Алжезирасский договор был в сущности победой, завоеванной для Франции «*entente cordiale*» (сердечным согласием), и если потом французская политика пыталась постепенно устранить еще тогда проведенные ограничения ее роли в Марокко, то теперь предполагалось сделать энергичный шаг по пути протектората, игнорируя международные соглашения. В Париже, конечно, не верили тому, чтобы мы, которые событиями 1905 г. были втянуты в политику и на-ряду с Францией являлись главными представителями материальных интересов в Марокко, могли обойти молчанием этот самоуправный, нами ничем не вызванный шаг. Но господа с Орсейской набережной не реагировали на наше желание заменить распадавшийся вследствие поведения Франции Алжезирасский договор новыми соглашениями о взаимных правах обеих сторон. Тогдашний статс-секретарь по иностранным делам, фон-Кидерлен-Вехтер, быть может, самый способный немецкий дипломат последнего времени, но несколько отда-



лившийся вследствие затянувшейся относительной бездеятельности на своем Балканском посту от существеннейших проблем нашей политики и, к сожалению, слишком поздно призванный к ответственному сотрудничеству в центре, — пришел, наконец, к заключению, что без применения какого-нибудь сильного средства нельзя заставить Францию вступить в переговоры. Так возникло столь шумевшее дело с посылкой канонерской лодки «Пантера» в Агадир. Это было лишь вынужденное уклончивым поведением Парижского Кабинета выражение нашего желания добиться исчерпывающего объяснения — оборонительный ответ на агрессивное поведение Франции.

Третьим моментом, характеризующим создавшееся положение и предопределяющим ход дальнейших событий, явилось угрожающее Германии поведение Англии, выразившееся в известной речи Ллойд-Джорджа ¹⁾. Все эти моменты следует помнить, чтобы правильно оценить значение кризиса для слагавшихся мировых отношений. Хотя неожиданный прыжок «Пантеры» вызвал сначала сенсацию и бес-

¹⁾ 21 июля 1912 г. Ллойд-Джордж выступил с речью на банкете Mansion house (во дворце лорд-мэра). Указав на благодеяния мира и историческую роль Англии, он продолжал: «Если нам будет навязано положение, при котором мир может быть сохранен только ценой нашего отказа от высокого и благотворного значения, достигнутого Британией веками героических усилий, и если в вопросах, где затрагиваются ее жизненные интересы, будет допущено такое обращение с ней, как если бы она потеряла свой голос в совете народов, то — я утверждаю и настойчиво подчеркиваю — такою ценою купленный мир был бы нашим унижением, которое для великой страны, подобной нашей, перенести было бы невозможно». Послу графу Вольфу Меттерниху после этого было поручено энергично протестовать перед сэром Эдуардом Греем против провокации Ллойд-Джорджа. Мы никогда не намеревались вмешиваться в английские права или интересы. Такие намерения существуют только в английском воображении. Подобные угрожающие предостережения, однако, могут только побудить нас к более твердому отстаиванию своих прав.

покойство, однако державы, которые потворствовали всякому самоуправству Франции, но порочили перед всем светом протестующую против этого Германию, как нарушительницу мира, не могли не понять, что для угрозы Франции войной, наверно, было бы выбрано иное средство, нежели посылка маленькой канонерской лодки для стояния в порту Агадира. Сверх того, своим непоколебимым соблюдением принятого курса немецкая политика показала, что с самого начала она не преследовала никакой иной цели, кроме мирного разрешения вызванных Францией разногласий.

Заносчивые слова Ллойд-Джорджа, естественно, должны были сильно взволновать Германию. Стремление к всемирному владычеству, в котором нас впоследствии лицемерно обвиняли, обнаружила в данном случае сама Англия, оправдывая всякую войну, которую Великобритания вздумала бы вести за признание своего верховенства. Какой резкий контраст с столь популярными во время мировой войны излияниями о равноправии наций и о своей собственной беспредельной любви к миру! Подавить волнение было почти невозможно. Недоверие к Англии, созданное политикой короля Эдуарда, глубоко вкоренилось за последние годы; это озлобление в Германии не ограничивалось только явно шовинистическими кругами и так называемыми милитаристами, но охватило народные слои, искренне настроенные в пользу мира. Император, хотя лично чрезвычайно угнетенный, не позволил в эти напряженные недели ни на одну секунду поколебать себя в своих намерениях, и я мог в полном согласии с ведомством иностранных дел продолжать политику переговоров, которые, наконец, и закончились договором 4 ноября 1911 г.

Резкая критика, которой эта политика подверглась в рейхстаге, мне и теперь не представляется политически разумной. Такие страстные нападки на того, кто способствовал предупреждению смертельной опасности, внушали за

границей ложное подозрение, будто у нас были склонны вызывать катастрофу. Если это делалось с целью предостеречь Англию, то при этом совершенно не учитывалось, что столь резкие выражения с парламентской трибуны должны были оказать на англичан, с их складом характера, действие, обратное желаемому. Опыт 1902 г.,—когда сам по себе необходимый корректив к допущенной Чемберленом ошибке вполне удовлетворил наше общественное мнение, но тяжко оскорбил английское, — должен был послужить предостережением¹⁾. Таким образом, хотя, быть может, и неумышленно, публично обесценивалась моя политика, ставившая своей задачей держать огонь подальше от накопившегося взрывчатого материала. До какой степени ирреально оценивалось иногда положение, показывал достойный удивления взгляд депутата Бассермана, считающегося в своей партии авторитетом по вопросам внешней политики, который полагал, что раз французы не хотели вступить в переговоры, то им следовало внушить понятие о серьезности положения не посылкой «Пантеры», но посредством военных мероприятий, которые должны были развернуться на западной границе, так как все распри с Францией, ведущие к войне, решаются не в Африке, а в Европе.

Следовало бы также сдержать и насмешливые выпады против будто бы не имеющего никакого значения договора 4 ноября. Несомненно, за кулисами здесь действовали несбывшиеся надежды индустриальных кругов, которые уже до наступления кризиса, благодаря своему сильно возрастающему влиянию, в особенности на национал-либеральную партию, неустанно поддерживали в рейхстаге интерес к мароккскому вопросу и пытались, опираясь на мощные средства публицистики, направить политику всей страны в пользу имеющих несомненно лишь ограниченное значение

¹⁾ Заседание рейхстага 8 января 1902 года.

промышленных интересов. Если даже раздававшиеся тогда жалобы оправдались различными, несовместимыми с экономическим соглашением 1909 года, каверзами и плутнями Франции против деятельности немецкой промышленности в стране ше-рифа, то все же казалось, что ни тогда, ни во время кризиса 1911 года, ни по его завершении у нас не давали себе ясного отчета в том стесненном положении, в котором мы находились, вследствие существовавшей группировки держав, и не учитывали того обстоятельства, что это было тяжелое на-следство, которое необходимо еще ликвидировать.

Заслуживает упоминания один характерный для взглядов императора эпизод. Для того, чтобы по возможности ослабить демонстративный характер, который приняло заседание рейхстага 9 ноября, благодаря нескрываемому одобрению, которое поддающийся пангерманским влияниям кронпринц высказал по поводу известных взбудораживающих выражений отдельных депутатов, — император еще во время заседания пригласил меня на тот же вечер к себе и предоставил мне сделать присутствующему кронпринцу разъяснения в том же духе, в каком я должен был на следующий день произнести речь в рейхстаге в ответ на речь депутата фон-Гейдебранда ¹⁾. Так решительно и определенно одобрял император политику сглаживания мировых противоречий.

¹⁾ 29 октября г. фон-Гейдебранд в очень резких выражениях жаловался на собрании консервативной партии в Бреславле на упадок немецкого мирового авторитета и говорил о «грандиозной беззастенчивости» английского министерства. Если даже либеральное министерство, считающееся в Англии менее воинственным, позволяет себе показывать кулак у нас перед носом и объявляет себя единственным повелителем мира то это для нас, имеющих у себя за плечами 1870 год, очень горько. Момент до того серьезен, что он не считает допустимым для патриота на глазах всего мира срывать теперь германское правительство. Консерваторы, однако, никогда не оставляли у верховной власти сомнения в том, что если она сочтет нужным защищать честь и могущество империи, то консервативная партия вся, как один человек, станет за нее. На заседании 9 ноября фон-Гейдебранд взял еще

Результат, и притом большого исторического значения, этого второго мароккского кризиса, как мне кажется и до сих пор, заключается в том, что Франция опять получила убедительное доказательство того, как прочно она может рассчитывать во всех разногласиях с Германией на поддержку Англии, даже когда британские интересы затронуты лишь косвенно.

Впрочем вызывающая политика Франции в Марокко одобрялась далеко не всеми французскими политиками. *L'impatience des réalisations* (жажда немедленной реализации), как назвал ее один остроумный француз, была не по вкусу тем, которые работали над постепенным изменением соотношения сил во вред центральным державам, и которым мешал слишком быстрый ход событий в Марокко. Существовала также небольшая группа финансистов и политиков, не чуждых идее совместной работы с немецким капиталом в известном ограниченном числе предприятий. Колониальное сотрудничество также казалось вполне возможным. Индустриальные связи были уже налицо, и открывались перспективы дальнейшего их развития. Но и поклонники таких комбинаций считали нужным подчеркнуть, что великий, раз'единяющий оба народа вопрос оставался все же открытым. Рано или поздно европейская распря должна была вспыхнуть, а пока можно было при случае завязывать небольшие политические и де-

более воинственный тон и сделал публично резкие нападки по адресу правительства: «Мир обеспечивается не уступчивостью, не сближениями и соглашениями, но только нашим добрым мечом и нашей надеждой, которую должны разделять и французы,—обрести такое правительство, которое не допустит, чтобы этот меч ржавел в нужный момент...». Я возражал на эти и другие заявления на следующий день с той резкостью, которой требовало общее положение, и так формулировал свой призыв к благоразумию: «Сильному вовсе нет надобности кричать о своем мече. Что мы несколько не уронили достоинства Германии перед лицом английского министерства, это раз'яснил г. фон Кидерлен-Вехтер в своем обстоятельном докладе в бюджетной комиссии».

ловые сношения. Мысль о всеобщем соглашении встречала отпор каждый раз, как только она возникала; любезность, оказывавшаяся, в особенности императором, в отношении выдающихся французов, посещавших Германию, в лучшем случае отмечалась с вежливостью, но всегда с недоверием. Стихийного течения событий нельзя было изменить — оно определенно шло в направлении шовинизма. Кабинет, заключивший договор относительно Марокко ценой весьма скромной, собственно говоря, жертвы за счет французской колониальной территории, должен был вскоре подать в отставку. Люди, которые вели переговоры с немцами, уже этим самым стесняли французских политиков.

Новый министр-президент был надеждой националистов и не скрывал своих антигерманских тенденций. С совершенно определенным намерением Раймонд Пуанкарэ выставил на вид свое происхождение с лотарингской границы. Явно националистический дух сквозил во всех его заявлениях; их действие можно было ясно проследить в Эльзас-Лотарингии. Г. Пуанкарэ, конечно, не стеснялся пожать плоды трудов своего предшественника в отношении протектората над Марокко. Но более всего он заботился о военном усилении Антанты. Французская литература справедливо приписывает ему, в качестве главной заслуги, выяснение вопроса о союзной помощи Англии путем обмена нотами между Греем и Камбоном. К этому следует еще прибавить и договоры о дислокации морских сил, позволившие значительную часть английского флота сосредоточить в Северном море. Каких успехов достигло развитие шовинизма в 1913 г. — стало особенно ясно, когда г. Пуанкарэ значительным большинством голосов был выдвинут на пост президента республики. Совершенно открыто заявлялось, что президентские выборы определялись соображениями внешней политики. Франция под руководством этого президента была готова на самые тяжёлые жертвы. Еще будучи председателем совета министров,

Пуанкарэ из своей поездки в Россию привез — по совершенно достоверным сведениям — обязательство ввести и во Франции трехлетнюю воинскую повинность. Он твердо решил использовать Францию в военном отношении до последнего предела. Он встретил поддержку в лице социалистического министра-президента, а также в лице ближе стоящего к нему в политическом отношении г. Барту, кабинет которого и провел трехлетнюю воинскую повинность приблизительно в то самое время, когда германский рейхстаг принял последний крупный военный законопроект. Не взвесив до конца всех бедствий, ожидающих не только побежденных, но и победителей, он подготовил войну, способствуя созданию общего положения, угрожающего миру.

С первого же дня, по ходу моих переговоров с г. Камбонм, я мог ясно заметить изменение тона французской печати, происшедшее одновременно с восхождением г. Пуанкарэ к власти. До того времени французский посол много раз распространялся на тему, что путем личных сношений между руководящими государственными деятелями, в налаживании которых сам он готов взять на себя посредническую роль, можно достигнуть лично ему столь желательного взаимного понимания. И, без сомнения, своим упорным терпением и благожелательностью он способствовал мирному окончанию затянувшихся переговоров относительно Марокко. С тех пор посол, однако, заметно изменился. К старому мотиву «личных отношений» он больше не возвращался и, посещая меня после своих частых поездок в Париж, хотя и оставался по-прежнему предупредительным, но, как только речь заходила об общественном настроении во Франции, становился, несмотря на всю изысканную находчивость французского «*esprit*», односложным и избегал всякого намека на уверения, будто и министерство Пуанкарэ руководится такими же миролюбивыми планами, какие он неоднократно приписывал прежнему кабинету.

Нельзя было не заметить того развития, какое совершила Франция за последние годы до войны. Это не было преувеличением, когда говорили о явном возрождении нации после поражения ее в 1870 году. Наш военный атташе в Париже — г. фон-Винтерфельд постоянно указывал в своих докладных записках на заметный рост армии в качественном отношении, свидетельствующий об оздоровлении всего народа. Быть может, знакомство с истинным характером наших западных соседей было у нас недостаточно глубоким и серьезным для того, чтобы мы могли, помимо известных безвкусных и грубых бульварных явлений, оценить по достоинству происходящее во Франции развитие. Что с общим ростом народных сил у такой гордой своей военной традицией нации, как французы, вспыхнули и шовинистические страсти, представляет собой явление, свойственное определенным стадиям всякого исторического развития. Развал 1870 г. нельзя было забыть, и — быть может, даже при отсутствии прямого стремления к нему — идея реванша за военное поражение все-таки глубоко коренилась в народном сознании, тем более, что правительство систематически уже в школах воспитывало детей в духе шовинизма. Неверно, конечно, будто потеря Эльзас-Лотарингии не давала народу покоя. Правда, в департаментах, непосредственно смежных с ней, постоянно тлела, не угасая, все та же мысль о возврате потерянных провинций. Но в остальной Франции народ едва ли из-за этого вопроса отказался бы от искреннего и прочного соглашения с нами, если бы всемогущие парижские заправилы пошли бы этому навстречу. Но так как последние, в особенности под руководством Пуанкаре, — будь это из патристических убеждений или из личного честолюбия, или потому что только таким путем они надеялись среди хаоса партийных распрей укрепить свою власть, — все определеннее шли против Германии, то народ принужден был следовать за ними. Ибо ни в одной стране влияние честолюбивого меньшинства не оказы-

вается в большей степени, чем во Франции. Сами французы перед войной мастерски изображали это положение вещей.

Даже французский социализм не умел успешно бороться против этого националистического опьянения. Как образец тех средств, которые во Франции, всегда громко хваставшейся своим высоким социальным уровнем, употреблялись в борьбе шовинизма против социализма, мне запомнилась одна иллюстрация в столь распространенном «Фигаро», относящаяся ко времени первого мароккского кризиса: на ней изображен французский солдатик с наступающим на него, в виде ажитированной старухи, социализмом и подписано: «Старуха, ты зря стараешься, твое время прошло!».

Не наблюдался ли еще в 1914 г. поворот в иную сторону? На выборах в палату депутатов 26 апреля получилось, правда, надежное большинство в пользу трехлетней воинской повинности, но перевыборы в мае представляли собой полную победу социалистов, одержанную, как Жорес писал в «L'Humanité», «против необузданных клевет национализма и регресса». А 16 июля конгресс французских социалистов принял резолюцию для представления ее на рассмотрение Венского международного социалистического конгресса, в которой, ссылаясь на заявление эльзасских социал-демократов и Иенского партийтага германской социал-демократической партии, требовал «предоставления Эльзас-Лотарингии автономии, в твердом убеждении, что таким путем значительно облегчится необходимое для всеобщего мира сближение между Францией и Германией». Ход событий мировой истории, переступив через труп Жореса, принял другое направление. Пуанкарэ не было никакого дела ни до сближения, ни до автономии. Эльзас-Лотарингию он хотел попросту отобрать. В этом ему должны были способствовать г.г. Сухомлинов и К^о.
